
АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Т. В. МИДЖИФЕРДЖЯН

Применительно к творчеству Ф. М. Достоевского говорить об авторской позиции, непосредственно включенной в ткань повествования, не приходится. Авторская позиция вычленяется только из всего произведения в целом, выражается непрямо, опосредованно, при помощи сложных композиционных средств. Для выявления авторской позиции в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» необходимо проанализировать роль и функцию повествователя в повествовательной организации текста. Термины «автор» и «повествователь» строго разграничены. «Повествователь» — это субъект повествования, организующий и оформляющий повествование в целом. «Автор» же — это субъект, создающий художественное произведение, обозначающийся самим произведением (повествователь — тоже объект воспроизведения).

Основным субъектом повествования в романе «Преступление и наказание» является повествователь. Авторская оценка событий, будучи гораздо шире оценки повествователя, в существенном совпадает с ней. Для определения авторской позиции значимы сопереживание повествователя тому или иному герою, временная передача повествовательных функций персонажем романа, отстранение от них в определенных ситуациях, однозначная характеристика одних и недосказанность по отношению к другим. Чаще всего на протяжении романа повествовательные функции передаются Раскольникову. Благодаря широкому применению несобственно-прямой речи переход от речи повествователя к речи Раскольникова зачастую почти неощутим. С основными размышлениями Раскольникова, его переживаниями мы знакомимся непосредственно через него. Таким образом создается особая приближенность читателя к эмоциональному состоянию главного героя. Мы посвящаемся в процесс духовного перерождения Раскольникова: от преступления к очищению, что несомненно является одной из основных авторских задач.

Вспомним, что при создании романа Достоевский не сразу остановился на той форме, в которую вылилась окончательная редакция романа. «На странице 107 первой записной книжки читаем: «Рассказ от себя, а не от него. Если же исповедь, то уж слишком до последней крайности, надо все уяснить».

Исповедь в иных пунктах будет нецеломудренна, и трудно представить, для чего написано.

Но от автора. Нужно слишком много наивности и откровенности. Предположить автора сушевым всеведущим и непонимающим, выставляющим на вид одного из членов нового поколения¹.

Кроме этих форм повествования Достоевский допускал и форму дневника, и форму воспоминаний преступника о случившемся восемь лет назад, и смешанную форму рассказа от автора, чередующегося с дневником героя.

¹ «Из архива Ф. М. Достоевского». «Преступление и наказание», неизданные материалы. Гос. изд., «Худ. лит.», М.-Л., 1931, подготовил к печати И. И. Гливицкий, стр. 9.

Из приведенного материала видно, как Достоевский серьезно относился к выбору субъекта повествования в романе, какое важное придавал этому значение. Следовательно, выбор безличного повествователя не случаен и несет на себе определенную смысловую нагрузку в повествовательной организации романа.

Иногда повествователь резко отстраняет себя от Раскольникова (например, когда он предваряет сон Раскольникова в первой главе пространным объяснением своеобразия: сновидений у людей в болезненном состоянии. Здесь и определение состояния Раскольникова как болезненного, и предварительное описание сна со знанием впечатления, которое сон произведет на него). Благодаря таким отстранениям сохраняется определенная дистанция между повествователем и Раскольниковым, что позволяет нам говорить о самостоятельной точке зрения повествователя, отличной от точки зрения Раскольникова. Очень открыто установка повествователя проявляется в эпилоге (оценке душевного переворота Раскольникова, предварительное знание повествуемого о неприменном наступлении очищения).

Как мы уже отмечали, точка зрения автора по объему шире точки зрения повествователя. Авторскую позицию в романе «Преступление и наказание» мы предполагаем рассмотреть через своеобразную триаду персонажей: Раскольников—Свидригайлов—Порфирий Петрович.

Этим персонажам доверено высказывание многих «заветных» убеждений самого Достоевского, а также ключевых для понимания романа мыслей и положений. Оговорим, что выделив из множества персонажей романа троих, мы, конечно же, намеренно сужаем поле исследования. На самом деле все герои романа в большей или меньшей степени могут участвовать в таком сопоставлении.

Выделенная триада представляет собой, на наш взгляд, модификации одной идеи, развернутой в произведении. В речи и поведении героев много общего, но это общее постоянно обыгрывается с различных точек зрения. Рефлектирующее сознание героев узнает себя, свою идею, слово, жест в другом человеке. Этот прием создает эффект бесконечного зеркального отражения, не дает замкнуться ряду равноценных решений идеи. Одному из этих решений отдает предпочтение сам автор; а какому именно—нам подскажет роман.

Идя на первую встречу со следователем, еще не зная его, Раскольников тревожится: «... хорошо или не хорошо, что я иду? Бабочка сама на свечку летит. Сердце стучит, вот что нехорошо!...»².

Порфирий возвращает ему его мысль: «Видели бабочку перед свечкой? Ну, так вот он (убийца—М. Т.) все будет, все будет около меня, как около свечки, кружиться; свобода не мила станет, станет задумываться, запутываться, сам себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть!... (...) Вы не верите?» (ПН, 359).

Пространное объяснение поведения бабочки перед свечкой и последний вопрос выглядит явно издевательски, после того как «бабочка» изрядно опалилась в пламени.

Во время второй встречи Раскольникова со следователем Порфирий Петрович замечает:

«Говорят вон, в Севастополе, сейчас после Альмы, умные-то люди уж как боялись, что вот-вот атакует неприятель открытою силою и сразу возьмет Севастополь; и как увидели, что неприятель правильную осаду предпочел и первую параллель открывает, так куды, говорят обрадовались и успокоились умные-то люди-с: по крайности на два месяца, значит, дело затянулось, потому когда-то правильной осадой возьмут!» (ПН, 358).

«Правильная осада»—здесь нежелание лезть на рожон, рассудочное стремление действовать наверняка, как принято, по закону.

А вот последний разговор Раскольникова с Дунечкой:

«...Но я, я и первого шага не выдержал, потому что я— подлец! Вот в чем все

² Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание», М., 1969, с. 270, в дальнейшем—ПН.

и дело! И все-таки вашим взглядом не стану смотреть: если бы мне удалось, то меня бы увенчали, а теперь в капкан! (...) А! не та форма, не так эстетически хорошая форма! Ну, я решительно не понимаю: почему лупить в людей бомбами, **правильной осадой**, более почтенная форма?

Боязнь эстетики есть первый признак бессилия!...» (ПН, 530).

Здесь «правильная осада» (выжидание, уничтожение изнурительное) и «лобовая атака» (действие, уничтожение сиюминутное) приравниваются. Внешнее благообразие, приданное Порфирисом осаде, снимается. Обратим внимание на динамичность глагола, употребленного рядом: **лупить ... правильной осадой**.

Уже по этим отрывкам можно судить о скрытом антагонизме этих образов, который будет объяснен нами позднее.

В романе маркировано употребление слова «подлец». Если в систему моральных понятий человека входит критерий подлости, то значит сам этот человек не может быть определен подлецом.

«Где это, — подумал Раскольников, идя домой, — где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, — а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак; вечное усидение и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства — всю жизнь, тысячу лет, вечность — то лучше так, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить, — только жить!... Экая правда! Господи, **какая правда! Подлец человек!** И **подлец** тот, кто его за это подлецом называет». — прибавил он через минуту» (ПН, 188).

Прежде выяснения оттенков употребления слова «подлец», сравним два восклицания, поставленные рядом, вытекающие друг из друга. **«Экая правда!»** — какой презрительный эпитет, сколько здесь горечи, сожаления, презрения к такой неприглядной для человека правде о человеке. Раскольников здесь как бы отстраняется от множества людей и со стороны оценивает их правду. Вслед за этим восклицанием, влогонку, взхлеб вырывается другое, потрясающее своей силой убежденности и естественности: **«Господи, **какая правда!**»** Человек отстранился, высказал суждение «о людях», а в следующий миг поднимается в нем все человеческое, земное, со всею жадною, неутомимою жаждою жизни. Сказано просто, но с сокрушающим ощущением жизни. В такой же очередности идут следующие две реплики. Первая: **«Подлец человек!»** — является ответом на восклицание: **«Экая правда!»**, вторая же: **«И подлец тот, кто его за это подлецом называет»**, — продолжает идею второго восклицания.

Интересно, что в романе слово «подлец» употребляют только те, кто хоть в в чем-то является не-«подлецом». Так, в речи Лужина слово «подлец» не встречается ни разу.

Порфирий Петрович считает Раскольникова не безнадежным подлецом: «Совсем не такой подлец. По крайней мере, долго себя не морочил, разом до последних столбов дошел». (ПН, 472).

И явку с повинной, по мнению Порфирия, Раскольников учинит отчасти тоже потому, что подлец не окончательный. Следовательно называет убийцу не-подлецом за то, что «до последних столбов дошел», то есть за то, что убил. Об убитых, как о жертвах теории — ни слова. Странная позиция для обычного следователя.

Сам Раскольников, решив свое раскаяние, говорит: «... при неудаче все кажется глупо! Эту глупостью я хотел только поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, и там бы все загладилось неизмеримою, сравнительною пользой... Но я, я и первого шага не выдержал, потому что я — **подлец!** Вот в чем все дело!» (ПН, 529).

«Главное, главное в том, что теперь все пойдет по-новому, переломится надвое,— вскричал он вдруг, — все, все, а приготовлен ли я к тому? Хочу ли этого я сам? Это, говорят, для моего испытания нужно! К чему, к чему все эти бессмысленные испытания? К чему они, лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками, идиотством, в старческом бессилии после двадцатилетней каторги, чем теперь соз-

наю, и к чему мне тогда жить? Зачем я теперь-то соглашаюсь так жить? О, я знал, что я **подлец**, когда я сегодня на рассвете стоял над Невой!» (ПН, 531).

Раскольников попал в ситуацию, единственный выход из которой ему видится только благодаря «подлomu» желанию жить. Итак, «**подлец**» потому, что очень жить хочется, а с другой стороны, «**подлец**», потому что себя за это подлецом называет. Такую трактовку нам позволяет выше разобранный реплика самого Раскольникова.

Во всех этих случаях мы воспринимаем слово «подлец» как определенное мерило в системе оценок, и чаще всего оно звучит для нас не в буквальном смысле. Иногда оно совмещает в себе сразу несколько точек зрения: «Вот что, Дуня,—начал он серьезно и сухо. — я, конечно, прошу у тебя за вчерашнее прощения, но я долгом считаю опять тебе напомнить, что от главного моего я не отступлюсь. Или я, или Лужин. Пусть я **подлец**, а ты не должна. Один кто-нибудь. Если же ты выйдешь за Лужина, я тотчас же перестану тебя сестрой считать». (ПН, 225).

В этом контексте слово «подлец» несет минимум тройную нагрузку:

- 1) оценка своего поступка;
- 2) приравнивание брака с Лужиным к своему поступку (в моральном плане). и, следовательно, косвенное определение Лужина как подлнца;
- 3) эвентуальная оценка поступка Дунечки в этом случае, соответственно, безоговорочное неприятие ее брака, так как здесь «все-таки на излишек комфорта расчет».

Однозначно это слово воспринимается, только когда оно адресуется истинному своему субъекту-носителю Петру Петровичу Лужину. Сначала это делает в нетрезвом состоянии Разумихин: «...Подумайте. где вы стоите! Ведь этот **подлец**, Петр Петрович. не мог разве лучше вам квартиру... Ну, так я вам скажу, что ваш жених **подлец** после этого!» (ПН, 224). Само имя Лужина подается как обособленное приложение к нарицательному существительному «подлец» (обычно бывает наоборот), и обрамлено этим словом с обеих сторон.

Эту мысль продолжает Катерина Ивановна: «Сам ты дурак, крючок судейский, низкий человек!... Да она и из комнаты не выходила и, как пришла от тебя, **подлнца**, тут же рядом подле Роднона Романовича и села». (ПН, 412).

И еще: «Ваше превосходительство, говорю, защитите сирот, очень зная, говорю, покойного Семена Захаровича, и так как его родную дочь **подлейший из подлцов** в день его смерти оклеветал...» (ПН, 447).

Характерно, что Раскольников не оценивает этим словом других, так как чувствует подлость за собой. Единственно, он может неоднократно величать этим словом Свидригайлова. Но Свидригайлов—особая статья, ведь он одна из модификаций идеи, представленной в Раскольникове. Достоевский прекрасно изобразил самостоятельно часть души, детерминированную иронией духа. Датский философ Киркегор, современник Достоевского, так определил понятие иронии:

«Ирония означает принципиально новое понимание истины, связанное с субъективностью. Ирония — это ненормальное, преувеличенное развитие, которое подобно развитию печени у страсбургских гусей, кончается тем, что убивает индивида»³.

Лучшая иллюстрация этому образ Свидригайлова.

Вот Свидригайлов в нарочито сниженном тоне излагает теорию Раскольникова Дуне: «Тут была тоже одна собственная теория,—так себе теория.—по которой люди разделяются, видите ли, на материал и на особенных людей, то есть на таких людей, для которых, по их высокому положению закон не писан, а, напротив, которые сами сочиняют законы остальным людям, материалу-то, сору-то. Ничего, так себе теория, теория как всякая другая». (ПН, 503).

Раскольников на каторге: «Чем, чем моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит? Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль ока-

³ Цитируется по книге П. Гайдено «Трагедия эстетизма». М., 1970. с. 139.

жется вовсе не так странно. О отрицатели и мудрецы в пятак серебра, зачем вы останавливаетесь на полдороге!» (ПН, 551).

Свидригайлов представляет теорию Раскольников с пародийной точки зрения. Не будем повторять затасканную фразу о том, что Свидригайлов является «циническим злодеем». Понятно, что многих обескураживает неприкрытость, обнаженность идеи в преподнесении ее Свидригайловым. Однако, чем ироничнее звучат суждения Свидригайлова, тем вероятнее, что их может произнести сам Раскольников в тет-а-тет со своей душой.

Свидригайлов и Раскольников умны, исключительны, резко отличаются от окружающих. Друг с другом составляют явный ассонанс: совпадая в звучании, реализуются различно. На протяжении всего романа раздают деньги направо и налево, отдают все до копейки—не суть важно, что суммы не равны; берут на себя миссию организаторов похорон. Оба снабжены известной степенью чудачества.

Однако Раскольников в лучшем положении. У него есть теория, в которую он верует, из-за которой страдает; есть люди, которым он нужен, которые любят его. Для Свидригайлова же «теория как всякая другая», ибо он не повинует ни одной идее и не встретил теории достойной себя. Достоинство в данном случае понимается не рассудочно, а интуитивно.

Свидригайлов верит в привидения и боится, что вечностью может оказаться пыльная баня с пауками. Он часто юродствует. Он одинок, так как отстранился от людей, благодаря своей незаурядности. То, чего люди понять не в силах, их раздражает. И они окружают Свидригайлова таинственными и мрачными слухами, которые нам преподносятся в романе Лужиным, чье мнение уже маркировано в нашем восприятии. Повествователь не сообщает нам о прошлом Свидригайлова от своего имени. Впервые мы узнаем о нем из письма Пульхерии Александровны сыну. А мнение Пульхерии Александровны ориентировано прежде всего на точку зрения Марфы Петровны, последующая характеристика которой заставляет читателя сомневаться в правдивости ее оценок. Сам Свидригайлов не желает даже останавливаться на этих сплетнях:

«Слышал. Лужин обвинил вас, что вы даже были причиной смерти ребенка. Правда это?

— Сделайте одолжение, оставьте все эти пошлости в покое,—с отвращением и брюзгливо отговорился Свидригайлов,—если вы так непременно захотите узнать обо всей этой бессмыслице, то я когда-нибудь расскажу вам особо, а теперь...» (ПН, 486).

«Пошло все, скучно», — вот основной мотив, сопровождающий Свидригайлова. Скучно в России, а за границей—еще хуже.

«За границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало. Не то чтоб, а вот заря занимается, залив Неаполитанский, море, смотришь, и как-то грустно. Всего противнее, что ведь действительно о чем-то грустишь! Нет, на родине лучше: тут, по крайней мере, во всем других винишь, а себя оправдываешь». (ПН, 306).

Поэтому Раскольников и Дмитрий Карамазов предпочитают каторгу Америке, а Свидригайлов и Ставрогин — самоубийство бесцельному бегству в никуда. Они уходят без веры даже в вечность, так как известно, какова она: не имеющая границ или всего лишь пыльная баня с пауками, в своем роде тоже бесконечная.

В романе особо выделяется употребление слов **верить** и **веровать**. **Верить** имеет более заниженный оттенок, но **веровать** можно только в интериндивидуальные ценности. Употребление каждого из этих слов определенным образом характеризует героев романа. Так, во время разговора Раскольников с Порфирием выявляется способность к вере у первого, и ее отсутствие у последнего:

«—Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?

— **Верую**, — твердо отвечал Раскольников...» (ПН, 284).

Свидригайлов может **верить** в привидения и готов **уверовать** только ради взаимности со стороны Дунечки. Любовь к Авдотье Романовне кажется ему панацеей от всех бед и безверия:

«Скажите мне: сделай то, и я сделаю! Я все сделаю. Я невозможное сделаю. Чему вы верите, тому и я буду **веровать**. Я все, все сделаю!» (ПН, 505).

Однако, неверующий по сути своей, он не находит исцеления. В юродствовании Свидригайлов порой путает свои мысли со слухами, его окутывающими. Он постоянно вырывается на фоне гротескных картин. Чего стоят писаришки с носами, направленными криво вправо и криво влево», а Катенька, целующая ему ручку после исполнения песенки сиплым голосом? Свидригайлов настолько привык к таинственности, создавшей вокруг него некий романтический ореол, что в видениях перед самоубийством уже не мог отличать содеянное от выдуманного. Юродствование обостряется благодаря близости конца, уготованного самим собой.

«Ему было досадно: «Все бы лучше на этот раз быть здоровым,—подумал он и усмехнулся». (ПН, 516).

«А шельма, однако же, этот Раскольников! Много на себе перетасил. Большую шельмой может быть со временем, когда вздор повысочит, а теперь слишком уж жить ему хочется! Насчет этого пункта этот народ—подлецы! Ну, да черт с ним, как хочет, мне что!» (ПН, 517).

Приблизительно то же самое звучало в монологе Раскольникова, приведенном выше. Однако Раскольникова разбирает сомнение: «подлецы—неподлецы», тогда как Свидригайлов уже отчислил себя от клана людей: «мне что!». Единственной светлой надеждой промелькнула его любовь к Дуне. И здесь пробует он отшутиться, однако, шутство меняется спокойной правдой, сказанной самому себе, правдой, в неосуществимости которой можно винить только свою опустошенную душу и болезненное целомудрие Дунечки:

«...Странно и смешно: ни к кому я никогда не имел большой ненависти, даже мстить никогда особенно не желал, а ведь это дурной признак, дурной признак! А сколько я ей давеча наобещал, фу, черт! А ведь пожалуй и перемолола бы меня как-нибудь...». (ПН, 517).

Но не дано уверовать Свидригайлову, решение принято, и последний смехок перед смертью:

« Я, брат, еду в чужие края.

— В чужие края?

— В Америку.

— В Америку?

Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови.

—здесь не места!

— Да почему же бы и не место?

— А потому-зе, сто не места!

— Ну, брат, это все равно. Место хорошее: коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку». (ПН, 522—523).

Свидригайлов является своеобразным кривозеркальным отражением Раскольникова, его пародийным двойником. Доминирующую черту натуры каждого из них Достоевский подчеркивает уже в их портретной характеристике:

«Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен». (ПН, 42).

Это описание дано с точки зрения безличного повествователя, как и описание Свидригайлова:

«Широкое скулистое лицо было довольно приятно, и цвет лица был свежий, не петербургский. Волосы его, очень еще густые, были совсем белокурые и чуть-чуть разве с проседью, а широкая, густая борода, спускавшаяся лопатой, была еще светлее головных волос. Глаза его были голубые и смотрели холодно, пристально и вдумчиво, губы алые. Вообще это был отлично сохранившийся человек и казавшийся гораздо моложе своих лет». (ПН, 267—268).

В этом описании повествователь создает эффект маски: светлые, как приклеенные, борода и волосы; голубые и холодные, как фарфоровые, глаза; яркие губы. Слово «маска» по отношению к Свидригайлову прямо упоминается во втором описании, производимом с точки зрения Раскольникова:

«Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное,

с румянами, алыми губами, с светло-белокурою бородой и с довольно еще густыми белокурыми волосами.

Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно молодом лице». (ПН, 480).

Способность верить одухотворяет облик Раскольников, а ирония Свидригайлова постепенно умерщвляет сознание и чувства. По Достоевскому же, смерть сознания влечет за собой смерть тела, является концом существования. Поэтому самоубийство Свидригайлова воспринимается читателем, как закономерный исход его неверия.

Порфирий Петрович входит в ряд Раскольников—Свидригайлов под девизом логики и разума. Первая встреча Раскольников со следователем дана с точки зрения безличного повествователя. Причем, иногда эта точка зрения отражает точку зрения Порфирия Петровича. Например, когда повествователь берет в кавычки «задушевный смех» Раскольника, и при этом отмечает, что все выглядело вполне натурально, то этим он как бы выводит из игры Разумихина, подчеркивает, что Порфирий увидел эту «задушевность» и принял ее к сведению. Этим самым внимание читателя сосредотачивается на Раскольнике и Порфирии Петровиче, отстраняя от них Разумихина и Заметова. В описании повествователем Порфирия проскальзывает некая аморфность, расплывчатость, и только глаза свидетельствуют о напряженной работе мозга:

«Пухлое, круглое и темного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже добродушное, если бы не мешало выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми моргающими, точно подмигивая кому-то, ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурою, имевшею в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто более серьезное, чем с первого взгляда можно было от нее ожидать». (ПН, 272—273).

Этим описанием повествователь как бы заранее настораживает Раскольника, заставляет его держаться начеку.

Таким образом, из текста постоянно выделяются Раскольников, Свидригайлов и Порфирий Петрович, повествующий отстраняет их от других персонажей. Какая же из модификаций более жизнеспособна с точки зрения автора? Все трое—личности незаурядные, в беседах понимают друг друга с полуслова. Посторонние участники беседы всегда автоматически выключаются из нее. Раскольников, Порфирий Петрович и Свидригайлов безошибочно умеют определять людей, мнения их обычно совпадают. Проследим их отношение к Разумихину.

Свидригайлов: «Я слышал о каком-то господине Разумихине. Он милый, говорят, честный, рассудительный (что и фамилия показывает, семинарист, должно быть), ну так пусть и бережет вашу сестру». (ПН, 487).

Порфирий Петрович: «Господин Разумихин! (...) Да господина Разумихина так и надо было прочь отвести: двоим любо, третий не суйся. Господин Разумихин не то-с, да и человек посторонний, прибежал ко мне весь такой бледный... Ну, да бог с ним, что его сюда мешать!» (ПН, 467).

Раскольников: «Письмо? Нынче утром Дуня получила какое-то письмо! От кого? От кого в Петербурге могла бы она получать письма? (Лужин разве?). Правда там стережет Разумихин, но Разумихин ничего не знает. Может быть следует открыться и Разумихину? Раскольников с омерзением подумал об этом». (ПН, 476).

Неожиданная интенция повествователя в размышления Раскольника. Последняя мысль дана с точки зрения повествующего с акцентом сопереживания герою.

Итак, все трое отказывают Разумихину в посвященности, сопричастности, и повествователь придерживается такой же точки зрения.

Интересно отношение членов триады к убийству, к преступлению. Раскольников убил, убил во имя теории, во имя справедливости. чтобы проверить «вошь он или право имеет?». Свидригайлов относится к преступлению Раскольника совершенно

спокойно, по-своему точно объясняет его, но считает, что коли убил, так нечего Шиллером прикидываться и требовать выполнения остальных нравственных законов:

«... понимаю, какие вопросы у вас в ходу: нравственные, что ли? вопросы гражданина и человека? А вы их побоку, зачем они вам теперь-то? Хе, хе! Затем, что все еще гражданин и человек? А коли так, так и соваться не надо было; не за свое дело браться. Ну, застрелитесь; что, аль не хочется?» (ПН, 497).

Порфирий Петрович, на первый взгляд, должен бы занимать прямо противоположную позицию. Следователь—официальный представитель власти, общественной морали, закона. Но он не ординарный следователь, и относится к событиям и явлениям не как остальные. Ему доставляет удовольствие сам процесс мышления, даже лавры успеха его не интересуют.

«То-то наплевать! Изверились, да и думаете, что я вам грубо льщу; да много ль вы еще жили-то? Много ль понимаете-то? Теорию выдумал, да и стыдно стало, что сорвалось, что уж очень не оригинально вышло! Вышло-то подло, это правда, да вы-то все-таки не безнадежный подлец, совсем не такой подлец! По крайней мере, долго себя не морочили, разом до последних столбов дошел». (ПН, 472).

Как мы уже отмечали выше, странная позиция для следователя: не-подлец, потому что смог убить. Однако, Порфирий Петрович выносит свою оценку с точки зрения способности к вере, к жизни, и даже завидует этим качествам Раскольникова.

«Кто я? Я поконченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй, **чувствующий и сочувствующий**, пожалуй, кой-что и знающий, но уж **совершенно поконченный**. А вы—другая статья: вам бог жизнь уготовил (а кто знает, может и у вас только дымом пройдет, ничего не будет)... (...) Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем. (...) хе! хе! хе! Вы мне, Родион Романыч, на слово-то, пожалуй, не верьте, даже и никогда не верьте вполне, — это уж такой мой норов, согласен; только вот что прибавлю: насколько я низкий человек и насколько я честный, сами, кажется, можете рассудить!» (ПН, 473).

Это скорее похоже на самообличение, нежели на обличение. Кирпотин В. Я. считает, что Порфирий сокрушает Раскольникова, что у него есть старый берег — бог, реально существующий порядок, закон⁴. Нам кажется, что у Порфирия нет и этого, у него ничего нет, кроме блестящей способности мыслить. Он может видеть в Раскольникове нового пророка, но уже не для себя: «... Я поконченный человек, больше ничего». Это—правда о самом себе, но правда, которая немедленно перечеркивается: «Вы мне, Родион Ромаыч, на слово-то, пожалуй, и не верьте, пожалуй, даже и никогда не верьте вполне». В этом предложении отрицание следует за отрицанием, в то же время в нем есть призыв не до конца верить этим отрицаниям. Порфирий, высказываясь, всегда оставляет себе выход в противоположную мысль. Порфирий тоже любит юродствовать: вспомним его басни о женитьбе, об уходе в монахи. Речь Порфирия — это, в основном, любование своей мыслью, ее способностью адаптироваться под любого собеседника, блестяще доказывать то, во что сам не верует. Порфирий не переступает порога в силу своей рациональности. Он не способен к действиям. Вспомним слова «подпольного человека»: «Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания—это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сиденье»⁵. В силу этого Порфирий не переступит. Свидригайлов потенциально способен переступить, но уверен, что ничего не обретет. Раскольников остается на пороге. Попытка переступить не удалась, однако, он не сломлен и не опустошен. Душа, способная веровать, находит, чему поклониться: в Эпиллоге Раскольников обретает себя через веру в любимого человека: «Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления по крайней мере...». (ПН, 558).

Несмотря на очевидную сопряженность трех реализаций идеи, Порфирий несколько отстранен от Раскольникова и Свидригайлова. «Разум-то ведь страсти служит...», — замечает Свидригайлов во время первой беседы с Раскольниковым. Сам Раскольников более склонен к Иронии, нежели к Разуму:

⁴ В. Я. Кирпотин. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. М., 1974, с. 294—295.

⁵ Ф. М. Достоевский, ПСС в тридцати томах, т. V, Л., 1973, с. 108.

«А Свидригайлов? Свидригайлов загадка... Свидригайлов беспокоит его, это правда, но как-то не с той стороны. С Свидригайловым, может быть, тоже еще предстоит борьба. Свидригайлов, может быть, тоже целый исход; но Порфирий дело другое». (ПН, 460).

Интересная деталь: повествователь говорит эти слова от себя, хотя они взяты в кавычки. Еще один пример несобственно-прямой речи. В этом случае повествователь всеведущ, он проникает в тайная тайных души Раскольников и извлекает мысль, в которой Раскольников не признается самому себе.

С Порфирием у Раскольникова гораздо больше разногласий именно в силу рассудочности первого. Порфирий остался в затхлом пространстве общепринятых канонов, а человеку «надобно воздуху»:

«Эх, Родион Романыч,—прибавил он (Свидригайлов—М. Т.) вдруг,—**всем чело-
векам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с... Прежде всего!**» (ПН, 453).

Раскольнику необходимому становится выяснить, есть ли за чертой, которую способен переступить Свидригайлов, истинные ценности:

«Вчера мне один человек сказал, что **надо воздуху человеку, воздуху, воздуху!** Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим разумеет». (ПН, 457).

В мире Порфирия таких ценностей нет, он сам отстраняется от людей, которым необходим воздух:

«... а вам прежде всего надо жизни и положения определенного, **воздуху соот-
ветственного**». (ПН, 473).

Почему же мы называем Свидригайлова и Порфирия Петровича двойниками Раскольникова? Ведь модификации идеи в общем-то равноценны, но в Раскольни-
кове сочетаются все качества (Разума, Иронии и Веры), с доминантой Веры.

«И в это мгновение такая ненависть поднялась вдруг из его усталого сердца, что, может быть, он мог бы убить кого-нибудь из этих двух: Свидригайлова или Порфирия. По крайней мере он почувствовал, что если не теперь, то впоследствии он в состоянии это сделать». (ПН, 460).

И он убивает их тем, что не признает в них никакого исхода, и идет по своему пути.

После анализа трех модификаций и-тен вырисовывается установка автора: наиболее жизнеспособной Достоевский находит модификацию Веры, ибо люди, обладающие ею ищут высших, интериндивидуальных ценностей, их сознание всегда живет полной, рефлектирующей жизнью, никогда не застывает и не становится самоцелью. Достоевский писал: «Христос ошибался—доказано! Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем с вами»...⁶.

Պ. ՄՐՃՐՅՈՒՋՅԱՆ — Հեղինակային դիրքորոշումը Յ. Դոստոևսկու «ՈՆԻր և պատիժ» վեպում. — Հոդվածում փորձ է արված վեր հանելու հեղինակի դիրքորոշումը Դոստոևսկու «ՈՆԻր և պատիժ» վեպում: Այդ առումով մեկնաբանվում է պատմողի դերը տվյալ ստեղծագործության մեջ: Արվում է «հեղինակ» և «պատմող» տերմինների սահմանազատում: Քեկ դեպքերի հեղինակային գնահատումն ափիլի ընդարձակ է պատմողի գնահատումից, սակայն վեպում նրանք հիմնականում համընկնում են: Անդեմ պատմողի ընտրությունը պատահական չէ և որոշակի իմաստ է ձեռք բերում վեպի կառուցվածքի մեջ: Հեղինակի դիրքորոշումը վեպում դիտվում է երեք հիմնական՝ Ռասկոլնիկով-Ավիդրիգայլով-Պորֆիրի Պետրովիչ կերպարների միջոցով: Այս կերպարներն արտահայտում են Դոստոևսկու նվիրական մտքերը, որոնք բանալի են վեպի մեկնաբանման համար:

⁶ Цитируется по книге М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», М., 1979, с. 113.